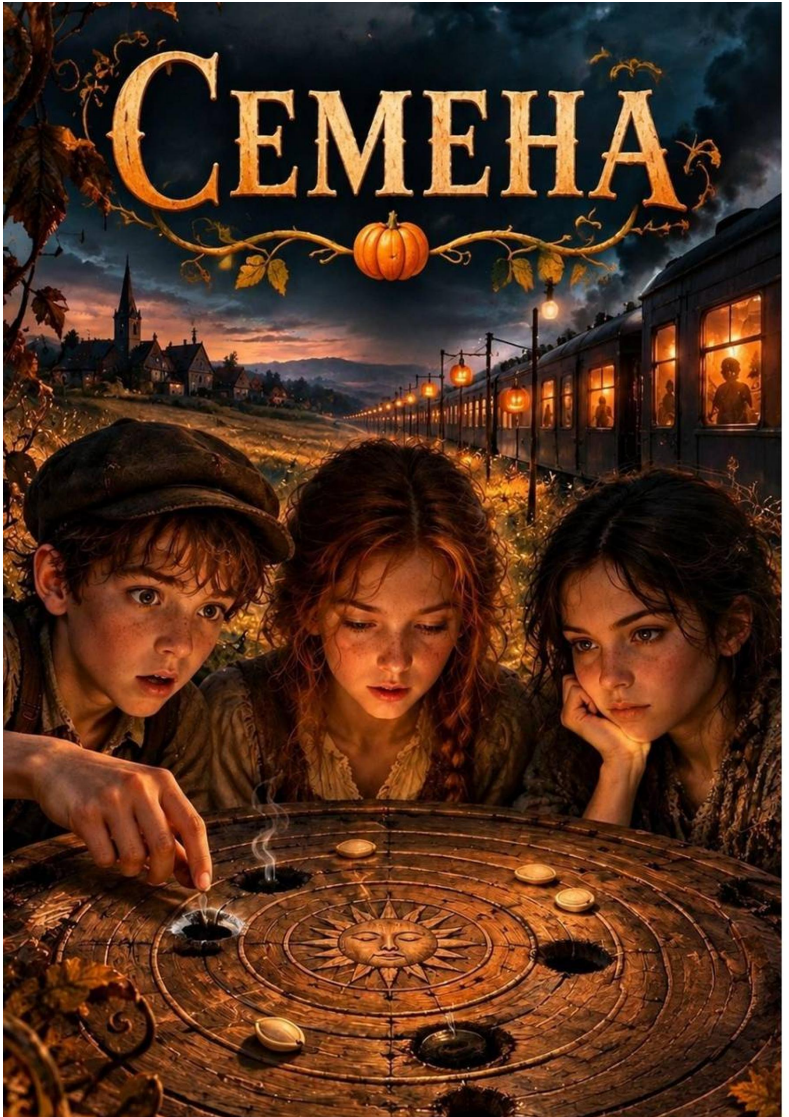

СЕМЕНА

Дана Грек
Семена

https://litres.ru/74733988
SelfPub; 2026

Аннотация

Три билета в одну сторону. Трое друзей. И мир, из которого не вернуться прежним.

Вера, Тимоха и Степанида находят игру — и просыпаются в поезде и где осень никогда не кончается. Здесь имеют вес имена и вопросы, ключи уходят по собственной воле, а костры горят в пустых окнах, зовя туда, откуда не возвращаются. Их ждёт река, которая не отражает неба, завод, перерабатывающий саму ночь, и железные тыквы на конвейерах. И правило чужого мира: скажешь трижды — станет правдой.

Но самое страшное — не чудовища. Самое страшное — когда река берёт одного за всех. По его собственной воле. С улыбкой.

Впереди — путь насквозь: со связкой ключей и мешочком, появившимся в сумке сам. По следу идёт молчаливый человек в плаще, в чьём блокноте уже записано всё, что с ними случится. А по ту сторону воды ждёт та, кто шла первой.

Тёмное фэнтези по мотивам славянских и кельтских поверий — о цене памяти и о том, что потерянное не всегда тонет. Иногда оно хранится на другом берегу.

Содержание

Глава 1 4
Глава 2 8
Глава 3 14
Глава 4 18
Глава 5 28
Глава 6 34
Конец ознакомительного фрагмента. 41

Дана Грек
Семена

Глава 1

День выдался такой, что даже мухи скучали. Август только-только перевалил за середину, до Тыквенного спаса оставалось шесть дней, и деревня жила в этом томительном, липком ожидании, когда все дела переделаны, все вёдра вымыты, а праздник всё не наступает.

Вера лежала на крыше амбара — на своём любимом месте, откуда вся деревня была как на ладони, — и считала ворон. Степанида сидела внизу, спиной к яблоне, и молчала, как умела только она. Тимоха в третий раз пересказывал историю про купца, который якобы заплатил ему пятак за то, чтобы он не свистел, — и в третий раз свистнул назло.

— Скучно, — протяжно сказал Тимоха так, будто это был приговор.

— Скучно, — согласилась Вера.И тут Степанида подняла голову.

— А в овраге, — сказала она, — что-то новое стоит.

Она не объяснила, как узнала. Она никогда не объясняла. Но идти пришлось: Тимоха потому что боялся остаться один, Вера потому что не могла усидеть, Степанида потому что уже

шла.

В овраге, там, где в прошлом году шумел лопух, стоял стол. Просто стол — тёмный, старый, будто его вытащили из чужого дома, где никто не жил уже лет пятьдесят. На столе лежала доска для игры, расчерченная не привычными линиями, а какими-то кольцами — круги в кругах, как годовые кольца у спила. Вокруг — тыквенные семена. А рядом, примятый, лежал клочок бумаги с одной-единственной строчкой: «Играешь, пока не доиграешь».

— Тыквенные шашки, — объявил Тимоха с наигранным презрением, но глаза у него заблестели. Тимоха не умел ходить мимо игр, как собака не умеет ходить мимо костей.

— Это не шашки, — тихо сказала Степанида, водя пальцем по кольцам. — Смотри. Здесь написано. «Семена».

Правила были вырезаны прямо на краю доски, маленькими буквами, и читались они странно — будто кто-то давно договорил, а буквы только сейчас подбирались к концу. Ходить можно было на одно кольцо вперёд или в сторону. Фигурка противника не билась, а «засыпала»: сходила с места, и на доске на её месте оставалось тёмное пятно, как выжженное. А выигрывал тот, кто первым доведёт свою фигурку к самому центру, где было вырезано солнце.

— Я первый, — сказал Тимоха и, пока Вера и Степанида читали правила, уже переставил фигурку.

Игра началась сама собой. Тимоха играл шумно, врал о своих ходах, Вера — быстро, жадно, всё время рвалась к цен-

тру, Степанида — молча и точно, и от её тихих ходов было почему-то не по себе. И вот что странно: чем дольше они играли, тем меньше слышен был овраг. Кузнечики смолкли. Ветер перестал трогать траву. Над ними потемнело небо — а по краям неба, далеко, там, где должны были быть поля, тянулась не заря, а длинная серая полоса, похожая на дым

.— А вы заметили, — сказала вдруг Вера, — что пятно на доске не уходит?Тёмные следы от «усыпленных» фигур не исчезали. Их было уже девять. И девятое пятно — самое свежее, от фигурки Тимохи, — ещё слабо дымилось, и от этого дыма пахло не горелым деревом, а отчётливо, невыносимо ясно — печёной тыквой, как в праздник, как у бабушки Пелагеи в печи.

— Да ладно вам, — сказал Тимоха, но голос у него сел. — Это краска. Это всё краска.

— Тогда доиграй, — сказала Степанида и посмотрела на него так, что Тимоха покраснел.

Он потянулся к своей фигурке — до солнца в центре оставалось два хода — и не дотянулся. Рука встретила воздух. Фигурка стояла на кольце, которого секунду назад на доске не было: тринадцатого. Доска была расчерчена двенадцатью кольцами — они это видели, они это читали. А теперь колец было тринадцать, и их фигурки — все три — стояли на этом новом кольце сами по себе, без рук, и солнце в центре медленно гасло, как уголёк в остывающей печи.

— Ходов больше нет, — сказала Степанида ровно, только

бровь у неё дёрнулась. — Правила кончились. Дальше мы....

— Мы — что? — спросил Тимоха, тем же привычным, трусливым голосом.Дальше было следующее. Доска под фигурками и под их ногами провалилась не вниз, а внутрь, как будто сама земля вздохнула. Кольца понеслись мимо — двенадцать, одиннадцать, десять — и на каждом мимо пролетевшем кольце что-то оставалось: на одном — запах печёной тыквы, на другом — далёкий-далёкий свист, слишком похожий на свист Тимохи, на третьем — тень, которая мелькнула так быстро, что Степанида не успела разобрать, чья она. Последним кольцом мелькнул стол, мокрый от росы, а потом всё это сложилось, как складывается карта, и стало стуком.

Стук колёс.

Они сидели рядом — Вера, Тимоха и Степанида — на длинной деревянной лавке у окна, и за окном неслась навстречу чужая тёмная степь, а вместо столбов света за окном мелькали тыквы насаженные на фонари. Пахло чугуном и мокрой шерстью. Тимоха сжал в кулаке что-то маленькое, круглое и тёплое — и разжал: на ладони лежала его, тыквенное семечко, и оно было живое

.— Ребята, — прошептал он, глядя в окно. — Куда это мы?

Впереди, в конце вагона, кто-то сказал негромко и очень устало:

— В путь, милые. Вы доиграли.

Глава 2

Вагон был старый, но не такой, как бывалые вагоны, — у него не было цвета, к которому привык глаз. Стены пахли яблоневым дымом, лавки под ними дышали, медленно и глубоко, как спящие звери, а за окнами тянулась степь, в которой не было ни одного огонька — только столбы, столбы, столбы, и каждый новый пролетал мимо чуть быстрее прежнего. Под ногами, сквозь щели в полу, что-то бормотало. Вера решила, что это шпалы, потом поняла, что шпалы не умеют бормотать имена, а её имя вагон уже два раза прошептал.

Пассажиров было немного. Напротив дремала женщина с чёрной водой вместо волос — вода в них тихо плескалась при каждом толчке поезда. Дальше сидел человек, который держал на коленях клетку; клетка была пустая, но изнутри всё время стучали. У самой двери, сгорбившись, сидел мальчик без лица — на том месте, где полагалось быть лицу, было зеркало, и в зеркале отражался вагон, но не мальчик.

— Не смотри на него, — прошептала Степанида. — Он это считает грубостью.

Тимоха уже открыл было рот для шутки, но Вера успела раньше:

— Откуда ты знаешь?

Степанида помолчала. Она никогда не рассказывала про колодец — только факт, без подробностей: жила, неделю,

вышла. Теперь она смотрела в свои колени, и голос у неё был ровный, как у человека, который репетировал это молча много лет.

— В колодце, где я сидела, было тихо только сверху. Внизу — не очень. Первую ночь я плакала, а потом поняла, что плакать там не в чем: внизу отвечали. Не эхом. Эхо повторяет, а это — спрашивало. Каждую ночь одно и то же: «Скажи, а я не страшный?» Я не отвечала — я вообще не понимала, кому отвечать. А на седьмой день снизу поднялся мальчик. На воде, как на полу. Стоит, смотрит снизу вверх, и лицо у него — как окно в тёмный дом: вроде и окно, а за ним никто не живёт. Он спросил своё, а я испугалась и крикнула: «Иди отсюда!» Он ушёл. Вода закрылась — и колодец стал просто колодцем. Сухим. И тишина там с тех пор стоит такая, что я её слышала до самой деревни, пока меня несли.

— Так он и есть тот мальчик? — прошептала Вера, глядя на зеркало вместо лица.

— Не знаю. Может, тот. Может, из той же истории, — Степанида наконец подняла глаза. — Но правило я выучила тогда, крепко: когда у кого-то нет лица, он смотрит на твоё. И всё, что ты в нём носишь и чем гордишься зря, он видит насквозь. Поэтому не смотри. Не потому, что опасно. Потому что невежливо.

Тимоха медленно отвернулся к окну и стал считать столбы. Столбов было много, и считать их оказалось самым разумным занятием за весь вечер.

И тут по коридору, от дальнего конца вагона, потянуло холодом. Пассажиры разом перестали дремать. Женщина с водяными волосами выпрямилась и застыла. Человек с клеткой прикрыл клетку плащем. Мальчик с зеркалом отвернулся к стене — из вежливости или из страха, никто не успел понять.

Холод шёл к ним в лице контролёра. Он был высокий, в форменной тужурке, потёртой на локтях до мяса, и из-под фуражки на героев смотрел единственный глаз — жёлтый, длинный, как прорубь. Там, где полагалось быть второму глазу, глазница была пуста, но не темна: в ней тлело маленькое оранжевое пятнышко, живое, как уголёк, и от этого пятнышка по щеке контролёра стекала тень, тёплая и медленная.

— Билетики, — сказал контролёр голосом, похожим на закрывающуюся дверь.

— А можно, я сначала анекдот, — начал Тимоха, потому что Тимоха всегда начинал с анекдота, когда ему было страшнее некуда.

Контролёр поднял руку. Тимоха замолчал — не потому, что испугался, а потому что звук сам умер у него на губах.

— Билетики, — повторил контролёр. — Или на ближайшей станции сдам вас Дикой Охоте. Ей, знаете ли, давно не хватало гончих с таким громким свистом, — он кивнул на Тимоху. — Или в котёл с углём. Котёл у нас маленький, но вы втроем, я полагаю, уместитесь. Дети всегда уместятся. Дети

вообще удивительно складные.

— Мы на Тыквенном спасе. Нас игра занесла, мы не по своей воле, — сказала Вера, и голос не дрогнул, хотя сердце стучало в пятки.

— Все так говорят, — контролёр вынул из-за пазухи блокнот, толстый, в мокрой коже. — «Не по своей воле», «мы просто пассажиры», «верните меня домой, я всё прощу». А билетов — ни у кого. Знаете, что за безбилетников тут берут? Не в Охоту и не в котёл. Их оставляют на узлах. На узлах, детки, останется только то, чем ты заплатил.

Он открыл блокнот и долго смотрел в пустую страницу, будто читал там что-то, чего другие видеть не могли.

— Плата, — сказал он наконец. — В междумирье берут не деньги. Деньги тут зеленели бы от стыда. Расскажи мне, безбилетница, страшную сказку. Такую, чтобы я поверил, что в ней речь про меня. Тогда поедете дальше.

— Про вас? — переспросила Степанида тихо.

— Про меня. У всех, кто ездит в междумирье, есть такая сказка. Мою ты не знаешь. Но, — желанный глаз сузился в щель, в которой тлело любопытство, — попробуй угадать. У тебя, девочка с крыши, глаз намётанный.

И Вера рассказала. Она рассказала про контролёра, который когда-то сам был мальчиком на этой самой дороге — про то, как он, не доиграв свою партию в игру, спрятался в вагоне, где никто не искал билетов, и ездил так год, и два, и сто, пока не забыл, куда ехал, а потом и то, что ехал зачем-то,

— и осталась только дверь, которую надо закрывать, и слово «билетики», которое осталось вместо имени. Она говорила — и чем дальше, тем понятнее ей самой становилось, что это не сказка, а память, которая шла рядом с ними всё время и ждала, пока её позовут. Оранжевый огонёк в пустой глазнице дрожал. Женщина с водяными волосами заплакала — и вода, стекая, оставляла на лавке сухие солевые разводы.

— Дальше, — хрипло сказал контролёр.

— Дальше ты выходишь на своей станции, — сказала Вера. — Она есть у каждого. Даже у того, кто потерял билет.

И вот тут, в самой середине тишины, Тимоха встал. Встал — Тимоха, который час назад не выдержал бы и первым закричал «бежим». Он достал из кармана свою фигурку — тыквенное семечко, живое, тёплое, единственное доказательство, что овраг и игра вообще были, — и положил её на блокнот контролёра.

— Угощайся, — сказал он. — Ты сто лет в дороге, а угоститься тебе, поди, никто не предлагал. Это с нашей игры.

Контролёр долго смотрел на семечко. Потом поднял его — осторожно, как поднимают новорождённых, — и огонёк в пустой глазнице вспыхнул ровно и ярко, и на один миг в глазнице проступило что-то, похожее на запомненный с детства закат.

— Билет, — сказал контролёр совсем другим голосом. — Три билета. До станции, где ты сойдёшь.

Он вырвал из блокнота три страницы — страницы были

пустые, но тёплые — и положил их героям на колени. А потом встал, поправил фуражку и пошёл дальше по вагону, и уже на пороге следующего вагона обернулся:

— Мальчик. Твоё семечко — точное. Смотри, не просади его в чужой земле.

Дверь за ним закрылась. Женщина с водяными волосами склонилась к героям и прошептала:

— Вы попали. Знаете, что он делает с билетами? Он их ест. А страницы из его блокнота… — она замолчала, глядя на их белые, тёплые талоны. — Их нельзя показывать проводнику. Никогда. Что на них проступит, когда поезд выйдет к станции, — то и придётся вам отдать.

За окном, впервые за всю дорогу, показался огонёк.

Глава 3

За окном, впервые за всю дорогу, показался огонёк. Он был тусклый, будто спрятанный за рваной занавеской, и дрожал, как пламя свечи на сквозняке. Вера вцепилась пальцами в край полки — ей казалось, что этот свет сейчас погаснет, и они навсегда останутся в темноте, где только стук колёс и шёпот проводника. Тимоха прижался носом к стеклу, пытаясь разглядеть, что там, за границей тьмы. — Станция… — выдохнул он. — «Октябрьская». Поезд замедлился, и скрип тормозов прозвучал, как стон. Вагон дёрнулся, ещё раз, ещё — и замер. — Не доставайте билеты, — прошептала женщина, натягивая капюшон ниже, пряча лицо. — И не смотрите на платформу. Двери с шипением разъехались, впуская внутрь не прохладу ночи, а густой, тяжёлый воздух — пахнуло дымом, мокрой травой и чем-то сладковатым, почти фруктовым. Вера первой шагнула наружу. Ступни обожгло холодом — бетон перрона был ледяным, хотя по их времени стояло лето. Она оглянулась на друзей: Тимоха и Степанида стояли в проёме, будто боялись переступить невидимую черту. На них и правда не было курток — только лёгкие футболки и шорты, и сейчас эта летняя одежда казалась нелепой, почти вызывающей в этом месте, где воздух был пропитан осенью. — Идите, — тихо сказала женщина из вагона, но её голос уже звучал откуда-то издалека, будто

поезд начал отъезжать, хотя стоял на месте. — Дальше сами. Двери закрылись с глухим хлопком, и поезд тронулся, увозя с собой единственный островок привычного мира. Огонёк, который они видели из окна, оказался костром — он горел прямо посреди перрона, и вокруг него кружились тени. Не люди. Что-то другое. Вера сжала кулаки. Кожа на руках покрылась мурашками, но не от холода — от страха, который пытался проникнуть внутрь, как сквозняк. — Ну что, — голос Тимохи дрогнул, но он всё-таки шагнул вперёд, рядом с Верой. — Лето же. Тут точно не может быть так холодно… наверное.Степанида хотела было кивнуть, но вдруг замерла, вцепившись пальцами в карман. В нём звякнули ключи — обычные, от городской квартиры, которые она по привычке сунула утром и забыла выложить. Звук показался оглушительно громким, будто кто-то ударил по рельсу.Фигуры у костра на миг повернули головы.— Не шевелись, — одними губами прошептала Вера.— Добро пожаловать на праздник, — прошептал кто-то из теней. — У вас есть, что отдать? Вера медленно наклонилась и подняла репу, не сводя глаз с круга света, где плясали фигуры. — У нас ничего нет, — твёрдо сказала она, хотя пальцы дрожали. — Мы просто проездом. Фигуры замерли. На мгновение стало тихо — только треск костра и далёкий гудок, будто другой поезд уходил в ночь. А потом из темноты выступил человек в длинном плаще. В нём ещё угадывалось чтото человеческое — но это было словно воспоминание о человеке, стёртое временем и бо-

лью. Лицо его густо покрывали глубокие шрамы: они тянулись, как трещины по старому стеклу, и в неровном свете костра казались живыми, будто шевелились при каждом движении. На первый взгляд он был почти таким же, как они, — не чудовищем из сказки, а просто усталым, изломанным мужчиной. Но стоило встретиться с ним взглядом — и всё внутри сжималось от ледяного понимания: они не в своём мире. Его глаза были слишком спокойны, слишком внимательны, в них не было ни удивления, ни сочувствия — только холодная, расчётливая осведомлённость. И при этом он был совсем молод — не старше двадцати двух, а может, и того меньше; казалось нелепым, что в таком юном возрасте взгляд может быть настолько лишён надежды. В руке он держал блокнот — такой же, как у проводника. Тот самый, что пожирал билеты и записывал долги.— Проездом? — его голос звучал так, будто слова царапали горло. — Здесь никто не бывает проездом. Он щёлкнул пальцами, и огонь в костре вспыхнул ярче, осветив пространство вокруг. За перроном начинался посёлок — серые дома, будто вросшие в землю, окна, горящие изнутри странным светом, и где-то вдалеке — хороводы фигур в масках. — Станция «Октябрьская», — проговорил человек, глядя на их белые талоны, которые Вера всё ещё сжимала в руке. — И у вас есть, что отдать. Вера почувствовала, как на поверхности билета проступает что-то тёмное — словно чернила, которые сочились изнутри бумаги. Она быстро спрятала талон в карман, но знала: позд-

но. Поезд уже сделал свой ход. — Пойдём, — прошептала она, хватая Тимоху и Степаниду за руки. — Через посёлок. Быстро. Они побежали, оставляя за спиной костёр, шёпот и взгляд человека в плаще, который знал, что они не смогут убежать. Но в этом знании не было торжества — скорее усталая обречённость, будто он уже не раз видел, как такие, как они, срываются с места, надеясь выиграть хоть несколько минут. И когда пламя почти скрыло его фигуру, он едва заметно качнул головой — словно не в упрёк, а в молчаливое обещание: «Ещё не время». А гдето впереди, в темноте, чтото тихо щёлкнуло — будто открылась дверь, которую раньше здесь не было.

Глава 4

Тропа уводила их от перрона, и с каждым шагом костёр за спиной становился всё меньше — пока не превратился в оранжевую точку, похожую на глаз, который ещё смотрит, но уже не видит.

Вера шла первой, Тимоха за ней, Степанида замыкала. Летние кроссовки совсем не грели, и воздух был не летний — он был чужой, осенний, тяжёлый, как вода в кастрюле, которую забыли на плите.

— Главное — тише, — сказала Вера, не оборачиваясь. — Помнишь, что та женщина в вагоне говорила? Что на талоне проступит — то и отдадим. Я не хочу проверять, работает ли это здесь так же.

— Работает, — мрачно сказал Тимоха. — Мой талон тёплый. Как живой.

— А я всё думаю про того, в плаще, — шепнула Степанида. — Он же был как мы. Почти как мы. И всё время знал.

— Вот именно, — Вера сжала кулаки. — Знал. И не остановил.

Они вышли на пустырь. И вот тут стало по-настоящему страшно — не потому, что кто-то закричал, а потому, что всё было устроено как у людей, но не так. Дома из серого силикатного кирпича стояли, вросшись в землю по самые окна, будто земля их медленно глотала — и ещё не проглотила.

Костры горели прямо внутри пустых квартир: окна полыхали оранжевым светом, и в этом свете было что-то неправильное — тепло здесь не грело, а звало.

На пустыре, между домами, водили хоровод. Не те мелкие, что вырезали рожицы на репе, — эти были высокие, в масках из коры и сухих листьев, и хоровод их шёл не по кругу, а по спирали, всё туже, всё ближе к центру.

— Не смотри им в маски, — Вера стянула Степаниду за рукав. — И ничего не спрашивай. Здесь, кажется, даже имена имеют вес.

— А как же их зовут…

— Тихо!

Но поздно.

Степанида, сама того не замечая, договорила — тихо-тихо, почти беззвучно: «…по-настоящему?»

И слово сорвалось. Оно было маленькое, невинное, но оно было вопросом о том, как зовут здешних. А здешние имена не спрашивают — их угадывают, и то не всегда.

Погода изменилась мгновенно. По краю неба поползла туча, серо-чёрная, рваная, будто кто-то содрал с дома крышу и повесил её в небо. Стало холодно так резко, что у Степаниды перехватило дыхание. Ветер ударил в спину — не обдул, а именно ударил, как ладонь.

Хоровод остановился.

— Спросить — тоже назвать, — Вера втянула воздух. — Как с ключами: ты их просто держала, а они уже работали

против тебя. Бежим!

И они побежали.

Первый раз — когда туча накрыла пустырь и стало темно, как в подвал.

Второй раз — когда между домами хрустнуло, будто шагнуло что-то большое, и это большое шло за ними неторопливо, уверенно: ему некуда было спешить, потому что они не могли бежать вечно.

Третий раз — когда впереди, из тьмы, донёсся голос. Негромкий, спокойный, почти добрый:

— Куда же вы. Вечер добрый, гости.

Задыхаясь, прошептал Тимоха на бегу. — Он просто идёт. Почему он просто идёт?!

— Потому что знает, что нам некуда деться, — отозвалась Вера. — Как тот, в плаще, знал.

— Может, это он?

— У того был блокнот. У этого — голос. Беги.

Они свернули за угол двухэтажки, миновали ржавый забор — Вера на бегу отдёрнула Тимоху от его колючих провисов: железо, помним, железо, — и выскочили за кромку посёлка, туда, где тропа круто падала вниз, к воде.

Только там, переведя дыхание, Вера полезла в рюкзак — вытащить хоть что-то, хоть сухарь, хоть флягу, хоть что угодно, чтобы убедиться, что мир ещё держится.

И замерла.

На дне, под свёрнутой курткой, лежал холщовый мешо-

чек. Небольшой, завязанный грубым шнурком. Внутри что-то тускло поблёскивало.

— Это не наше, — прошептала Степанида, заглянув через плечо.

— Оно в моей сумке, — Вера не разжимала пальцев. — Я бы помнила. Я всё время с этой сумкой…

— Оно у тебя было с самого вокзала, — сказал Тимоха тихо. Как будто знал. Как будто кто-то шепнул ему это чужим голосом. — Просто ты не знала.

Никто не спросил, откуда он знает. В этом посёлке уже не спрашивали.

Вера положила мешочек к себе в карман и они пошли дальше. Тропа спускалась к реке, и с каждым шагом воздух менялся: осенняя гарь посёлка сменялась сыростью, а сыростью — чем-то ещё. Тиной, ржавчиной и очень старой водой. Водой, которая течёт так давно, что забыла, откуда берётся.Река открылась разом — и Тимоха остановился, как врезался в стену.

Она была широкой и медленной, и она не отражала неба. Совсем. Над водой лежал туман — плотный, молочный, чуть подсвеченный снизу, будто в глубине что-то горело, — и вода под ним была чёрной и глухой, как замёрзшее окно. Ни звёзд, ни луны, ни огней посёлка за спиной. Ничего. Река врала, что в ней нет ничего, и врала так убедительно, что начинаешь верить.

— Она не отражает, — прошептала Степанида и накло-

нилась. — Смотрите. Я не отражаюсь…

— Не наклоняйся! — Вера дёрнула её за плечо. — Ты помнишь правило? Что увидишь — то и…

— То и отдам. Да помню. Но я же не могу отдать себя.

После этих слов вода зашевелилась.

Среди тумана, в чёрной воде, поплыли льдины — белые, рыхлые, кособокие. И на одной из них сидел водяной — если это можно было назвать сидением. Он не плавал на льдине, он составлял с ней одно целое, как коряга — с бревном. И голова его была тыквой. Настоящей тыквой с прорезанной улыбкой, из которой вытекал не сок — свет. Оранжевый, дрожащий, как пламя свечи в ветреную ночь.

— Эй! — голос у него оказался хриплым и весёлым, как у соседа с дачи, который зовёт через забор. — Гости! Живые гости! Сто лет не видали!

Он подгрёб ближе — льдина двигалась сама, без вёсел, — и щёлкнул чем-то в темноте головы. В ладони у него, откуда-то из тумана, материализовались кости. Пять штук, старых, пожелтевших, с точками вместо цифр.

— Кто ты? — в один голос, твердо задали вопрос Вера и Степанида.

— Я водяной, но вам придется называть меня "Хозяином", — тыква не могла передать такие эмоции как у людей, но было понятно, что он не просто так говорит, в его голосе звучала ехидность.

— А если нет, — с непривычной смелость вымолвил Ти-

моха, — буду я так же называть тебя водяным.

Стоило мальчишке договорить фразу — как небо раскололось. Молния ударила в землю рядом с детьми — без грома, сухой белой вспышкой, на миг осветив реку насквозь. Русалки нырнули, тыква водяного расплылась в ещё большей улыбке, а туман над рекой сорвало и унесло — будто сама ночь вздрогнула от произнесённого слова.

— Чем чаще называешь меня по так, тем ближе удар. — произнес Хозяин так, будто они не первые и не последним кто усвоил ещё один урок в этом мире. —Давайте лучше сыграем? — Тыква наклонилась набок, и свет в ней качнулся.

— Ставки малые, выигрыш большой. Проиграете — останетесь тут, со мной. На льдине. Холодно, конечно, зато видом живых любуюсь. Давно не на кого смотреть.

— Нет, спасибо, — Вера уже тянула друзей вдоль берега. — Мы не играем.

— Все говорят «не играем», — лениво отозвался водяной. — А потом играют. У меня играла половина этого посёлка. Вот и посёлок такой получился.

По берегам, из тумана, на них смотрели русалки. Не те, которых рисуют на картинках, — эти были в венках из сухой осоки, серые, голодные лицом, и пели. Пели на старый лад, протяжно; слова не разобрать — только поневоле качаешься в такт, и ноги сами сворачивают с тропы к воде.

— Не слушайте! — крикнула Вера. — Думайте про что-нибудь своё! Про дом! Про лето!

Тимоха стиснул зубы и стал вспоминать: жара, асфальт, лимонад из ларька. Монетка была железная. Она не жгла тогда. Тогда вообще ничего не жгло.

Пение стихло так же резко, как началось. Будто по команде.

Русалки разом отвернулись к воде — и замерли, ожидая.

Из тумана вытянулся, как из земли, причал. Деревянный, почерневший, с лодкой. И в лодке сидел Перевозчик.

Он был старым — или казалось, что старым, потому что борода его была белая, как туман над водой. Но руки у него были молодые, и это было хуже всего: старое лицо и молодые руки, которые слишком много работали. Вёсел он не держал. Лодка держалась у причала сама.

— На тот берег? — спросил он. Голос был ровный, без вопросов.

— Да, — сказала Вера. — Пожалуйста.

— Деньги не беру, — сказал Перевозчик так, будто отказывал в милостыне. — Река не берёт денег. Река берёт то, чего тебе жальче всего. И не угадаешь заранее. Бывает, возьмёт ремень. А бывает — родных.

— Но у нас ничего нет, — сказал Тимоха. — Совсем ничего. Только…

Он осёкся. Но Перевозчик уже смотрел на карман Веры. Не на мешочек — на сам карман, будто видел сквозь ткань.

— Это не плата, — сказал он. — Это пропуск. А плата — другое.

Он поднял голову и посмотрел на них по очереди — и в глазах у него было не зло, а усталость. Та же самая усталость, что и у человека в плаще у костра, и у женщины в вагоне. Усталость всех, кто здесь живёт слишком долго.

— Река не берёт за проезд, — повторил он. — Река берёт за переправу. А переправа — это когда из одного берега в другой. И не обязательно из одного мира в другой. — Он вздохнул. — Иногда переправа — это когда из одного человека в другого.

— Я не понимаю, — Степанида сжала кулаки. — У нас нет ничего. У нас только воспоминания. И то, что в мешочке, но это…

— Стой! — Тимоха вдруг перехватил её за руку. — Смотри.

Он смотрел на воду. И на этот раз вода не молчала.

В чёрной глади, в том месте, куда смотрели русалки, медленно проступала картинка. Сначала — расплывчатая, потом всё яснее. Летний день. Сад. Качели, скрипящие на солнце. Женщина, которая что-то печёт и выглядывает в окно. Стол на веранде. И у стола — Степанида. Маленькая, лет пяти, с двумя косичками и садовой лейкой, которую она несёт на одной руке, как оружие.

— Это мама, — прошептала Степанида. — Это наш сад. Это… это я.

Картинка чуть колыхнулась — и в ней появились ещё двое: девочка постарше и мальчик, что-то кричащие на каче-

лях. Они были расплывчатые, как будто снятые через мокрое старое стекло. Но лица узнаются. Лица узнаются всегда.

— Это мы, — сказал Тимоха. Голос сел. — Это Вера. Это я. Мы там были. Все вместе.

— Река показывает то, чего тебе жальче всего, — сказал Перевозчик. — И то, что она хочет взять.

Он встал в лодке — и лодка качнулась, но не уплыла.

— Плата такова: один из вас оставляет здесь воспоминание. То, что вода показала. Отдашь — переправлю. Откажешься — буду ждать до утра. Но в утро здесь никто не переправляется. В утро здесь никто уже не хочет.

— Я отдам, — сказала Степанида быстро. Слишком быстро.

— Нет! — Тимоха рванулся к ней. — Ты не понимаешь! Это же твоё детство! Ты не будешь помнить, как мы качались! Ты не будешь помнить маму!

— Я буду помнить маму. Я не буду помнить, как мы качались вместе. Это не так страшно, Тимоха. Это не так страшно, как остаться здесь навсегда.

— Но это будет дыра. В тебе. Ты будешь ходить и не знать, что там было. Как будто вырвали страницу из книги, а книгу читать надо.

— У меня уже есть дыра, — тихо сказала Степанида. — Ключи. Я их потеряла, и это уже дыра. Ещё одна не сделает меня хуже.

Перевозчик слушал молча. А потом покачал головой —

медленно, тяжело, как качают головой над тем, что уже решили без них....

Глава 5

— Река не возьмёт память у неё, — сказал он. — Не просите. Вода показала её не затем. Вода показала её потому, что выбрала.

— Выбрала? — Вера шагнула вперёд. — Что значит выбрала?

— То и значит. Река всегда показывает тому, кого берёт. Целиком. Не кусочек, не страницу из книги. — Он впервые посмотрел на Степаниду прямо, и в его глазах было не злорадство — жалость. Усталая, старая жалость, которой он уже, наверное, разучился пользоваться. — Она спросила здесь первой. Она нарушила табу. Она открыла путь. Такие здесь не платят по мелочи.

— Ты хочешь сказать… — Тимоха замолчал. Он всё понял. Он понял всё за одну секунду, на которую не хватило смелости Вере.

— Она уходит, — просто сказал Перевозчик. — По своей воле. Река не забирает тех, кто сам не ступил. Но ступившего она не отпускает.

— Нет! — Вера рванулась к Степаниде, но та уже стояла у самой воды. Спокойная. Как будто что-то наконец поняла — или наоборот, перестала понимать что-то страшное.

— Тише, — сказала Степанида и улыбнулась. Губы дрожали, но улыбка была настоящая. — Вы же слышали. По сво-

ей воле. Это единственное, что здесь вообще по моей воле.

— Мы найдём способ, — Тимоха стоял как вкопанный, и голос его ломался. — Мы переправимся и найдём. Обратно. Есть же… куда-то же это…

— Тише, — Степанида подняла ладонь. — Не тратьте слова. Здесь даже слова имеют вес, вы же сами говорили.

Вода у её ног зашевелилась. Из чёрной глади, мягко, как из-подо льда, поднялся пузырь — большой, прозрачный, размером с человека. Вода стекала по его стенкам вниз, и в нём не было ни воздуха, ни темноты — только свет. Тёплый, летний, солнечный свет — тот самый, из сада, из показанной картинки. Качели, скрипящие на солнце, были теперь не в воде. Они были вокруг. Они были здесь.

Степанида посмотрела на него — и не испугалась.

— Смотрите, — прошептала она. — Там лето. Там всё лето.

— Степа… — Вера не узнала свой голос. Он был тонкий, детский, как в семь лет. — Степа, не надо. Возьми меня. Я старшая. Мне положено идти первой. Это я вас учила идти первыми.

— Вот именно, — Степанида повернулась к ней, и в глазах её стояли слёзы, но они не падали. — Ты учила. Значит, теперь учи дальше. Кому-то же надо помнить, как это делается.

Она сделала шаг.

Один шаг — с берега в пузырь. И его хватило.

Пузырь сомкнулся вокруг неё — мягко, без всплеска, как закрывается дверь, которую смазали. И внутри стало видно её целиком: маленькую, в летних шортах и кроссовках, с двумя косичками, только теперь не из пяти лет — из всех сразу. Она стояла среди света и качелей и смотрела на них — и махала рукой. Беззвучно: стекло не пропускало звука.

Тимоха бил кулаками по стенкам пузыря. По воде. По чему угодно. Пузырь не дрожал. Вода не расходилась. Река приняла — и больше ничего не обещала.

А потом свет внутри начал таять. Не гаснуть — именно таять, как тает сахар в горячем чае: слой за слоем, мягко, неспешно. Степанида не боролась. Она закрыла глаза — и последнее что видели Вера и Тимоха, это её лицо: спокойное, почти счастливое, как у человека, который долго мёрз и наконец зашёл в тёплую воду.

Потом не стало и света.

Пузырь сдулся в одну каплю, капля упала в реку — и чёрная гладь сомкнулась над ней, как над любою другой каплей в любой другой реке.

И река снова не отражала неба. Совсем. Как будто и не было на свете девочки с косичками и садовой лейкой.

— Она не умерла, — прошептал Тимоха. Он стоял на коленях у воды, мокрый, с разбитыми костяшками, и говорил это не Вере — реке. — Скажи, что она не умерла. Скажи.

— Река не убивает, — Перевозчик смотрел в сторону. Голос его был ровным, как всегда, и от этой ровности хотелось

кричать. — Река перевозит. Она ушла на тот берег. Просто пешком через воду не ходят. Пешком через воду ходят только в сказках. А это не сказка, мальчик. Это переправа.

— Куда её увезло? — Вера схватила его за рукав. — Куда? На тот берег — это куда? Скажи мне. Мне нужно знать, куда.

Перевозчик долго молчал. Потом снял с головы шапку — жест настолько человеческий, что от него стало страшнее, чем от всего остального вместе.

— Туда, где не надо билетов, — сказал он. — И где никто ничего не должен.

— Значит, она дойдёт?

— Она шла первой. Из вас троих — только она знала, куда идёт.

Они сели в лодку. Вдвоём. Лодка качнулась под их весом так непривычно, так пусто с одной стороны, что Вера схватилась за борт — и не сразу поняла, что качнуло не лодку, а её саму, внутри.

Лодка пошла. Молча, без вёсел, через туман, через чёрную воду, которая не отражала ничего — кроме, может быть, того, что уже нельзя вернуть.

По берегам пели русалки. И впервые за всю дорогу Вера разобрала слова. Они пели не о том, что уплывает и не возвращается. Они пели о девочке с косичками, которая прошла реку по своей воле, не заплатив ни воспоминанием, ни страхом. Пели, как в старых деревнях поют на проводах — не в голосом, а сердцем.

Водяной не махал вслед. Он снял тыкву с головы — под ней не было ничего, только туман — и держал её у груди, как снимают шляпу.

Тимоха сидел на банке и смотрел в туман туда, где скрылся свет. Он не плакал. Он был слишком старым для своего возраста и слишком молодым для этого места, и это было самое несправедливое сочетание на свете.

— Вера, — сказал он наконец. — Она же знала. Она знала ещё у хоровода, когда спросила. Она спрашивала не потому, что не знала.

Вера замерла.

— Она спросила, — продолжил Тимоха ровно, слишком ровно, — как их зовут. Зачем? Она же умная. Она спрашивала. Чтобы выбрали её, а не нас. — Он сглотнул. — Она это спланировала. С того самого момента, как потеряла ключи.

И Вера поняла, что он прав. Всё это время девочка с косичками шла чуть впереди — и вела их. Не к дому. К реке.

А Вера смотрела на чёрную глухую гладь и держала ладонь на кармане, где лежал мешочек. Она не знала, что внутри. Знала только, что он появился в её сумке не сам — и что теперь у неё остались два долга. Один — Хозяину. Второй — Степаниде. И она не знала ещё, какой из них окажется дороже.

Река — это всегда рубеж. И есть такие, кто проходит его сам, по своей воле, оставаясь по эту сторону в чужих воспоминаниях.

И на новом берегу их ждали. Только теперь — двоих.

Глава 6

Лодка ткнулась носом в берег — мягко, как ткывается в сновидение. Вера и Тимоха вылезли на камни, и Перевозчик, не прощаясь и не оборачиваясь, отвёл лодку назад, в туман. Река за спиной сомкнулась. Пути назад не стало — стало меньше на одну реку и на одну Степаниду.

А впереди горело.

На возвышении, на весь горизонт, стоял завод. Огромный, ржавый, с трубами выше самой ночи, — он дышал, и от этого дыхания по земле шла дрожь. Из труб валил дым — но не серый, как положено дыму, а оранжевый, искрящийся, как будто завод перерабатывал не уголь и не руду, а саму ночь: вгонял её в себя целиком и выпускал обратно светом. Дым поднимался и рассыпался искрами, и искры падали медленно, не гаснув, — как снег, только живой.

— Это что, фабрика? — прошептал Тимоха. — Ночью?

— Здесь всё что-то делает не то, — Вера вглядывалась. — Смотри. Она светит, но не греет. Как окна в том посёлке.

— У нас нет пути вокруг, — Тимоха поднял взгляд выше труб. Там, куда ни поверни, стоял лес — тёмный, плотный, качающийся. А может, и не лес. — Другого прохода нет. Только насквозь.

— Только насквозь, — повторила Вера.

— Только насквозь, — сказал кто-то третий.

Дети обернулись. Никого. Только ветер прошёл вдоль берега и вздрогнул от него сухая осока. Но слова были произнесены. Здесь так: три раза скажешь — и уже не соврёшься.

Они пошли вверх по склону, к воротам.

Ворота были створками из ржавого железа, распахнутыми настежь, как пасть. И над ними, на арке, висела гирлянда — праздничная, из сухоцветов, вплетённых в проволоку, — и мигала в такт дыму. Никто не охранял. Ничего не запирало. Завод просто стоял и ждал — так, как умеет ждать только очень старое и очень голодное.

Внутри всё было как в цехе, который дети видели на картинках в учебнике — если цех снять в кошмаре. Конвейеры тянулись в темноту, гремя. И по конвейерам, ряд за рядом, шли тыквы — механические, клёпаные, с прорезанными улыбками из стальных полос, с гнёздами вместо глаз, в которых тлели маленькие огоньки. Тыквы сходили с конвейера и вставали. Вставали и смотрели. Тысячи оранжевых огоньков поворачивались к вошедшим.

— Не беги, — тихо сказала Вера, сжав Тимохину руку. — Не беги, пока не гонятся. Всё, что бежит здесь, — добыча.

— А пока не гонятся?

— Пока не гонятся — идём. Быстро и как будто мы свои.

Цех был лабиринтом: между конвейерами — проходы, из проходов — другие проходы, из других — лестницы, наверх, вниз, в гул. Где-то глубоко бил молот — раз в три секунды, ровно, как сердце. Раз. Два. Три. Дети шли от этого счёта, и

уже нельзя было понять, откуда идёт счёт — от молота или изнутри.

А потом гул изменился.

Конвейеры не встали — нет, они наоборот ускорились. Тыквы пошли быстрее. И по цеху, сверху, с мостков, раздался голос — не голос, а способ, которым металл говорит, когда хочет быть голосом: скрежет, растянутый в слова.

— Живые.

Тыквы повернулись все разом — тысячи огоньков.

— Беги! — крикнула Вера. — Беги!

И они побежали.

Первый раз — по нижнему цеху, между конвейеров, когда тыквы начали сходить с лент: прыгать с конвейера и катиться за ними, гремя, как гремит посуда в падающем шкафу. Вера рванула дверь в боковой проход — ржавая, не открылась. И тут в щели под дверью что-то блеснуло. Тихо, осторожно, выкатился ключ — старый, ржавый, на треснувшем кольце. Тимоха узнал его раньше, чем подумал: связка Степаниды. Та самая, что утекла от неё на станции, — звякнула в темноте и ушла. Он поднял ключ, вставил — замок провернулся легко, будто его смазали только что, изнутри. Они вылетели внутрь, захлопнули — и дверь завибрировала от ударов с той стороны.

— Откуда у тебя… — начала Вера.

— Это её ключи, — Тимоха сжимал связку так, что кольцо впивалось в ладонь. — Их же забрали. Их же унесли. Кто-то

вернул. Кто-то дал нам их через дверь.

— Кто?

Тимоха не ответил. Он думал о человеке в плаще. О том, который держал ключи в руке у костра и не отдал. Который знал всё и молчал. Оказывается, молчал не всегда.

Второй раз — по лестнице наверх, когда они поняли, что внизу всё больше дверей, чем было, и все они, чёрные, начинают открываться сами. Лестница спиралью шла вверх, и навстречу по ней, сверху вниз, спускался кто-то большой. Очень большой. В том месте, где проход делал поворот, стало видно его: гора ржавого металла с руками, гора с тремя шагами по три ступени за раз. Верлиока. Местные, если бы их можно было спросить, назвали бы его так. Дети назвали его «оно» — и бежали мимо, вжавшись в перила, пока гора шарила руками по перилам, медленно, будто перебирала чётки. Одной рукой. Второй. Третьей, запасной, которой у него быть не полагалось.

Третий раз — по мостику над главным цехом, когда сзади рванулось всё сразу: и двери, и конвейеры, и гирлянда сухоцветов, которая сошла с арки и поползла за ними по стене, как сухая ползучая лиана. Мостик дрожал. Внизу, под решётчатым полом, текла сталь — оранжевая, расплавленная, кидающая свет им в лица снизу. И Вера увидела их отражение в стали — и в отражении было трое. Трое, хотя шло двое: две девочки, один мальчик. Одно отражение улыбалось и махало им рукой из расплавленной реки.

— Не смотри вниз! — Тимоха дёрнул её. — Оно не наше! Оно — ихнее!

— Откуда ты знаешь?!

— Знаю! — крикнул он, и в крике его было то самое, новое, посёлок-в-голосе. — Здесь всё железо слушает! А сталь — это железо, которому показали!

И тут на мостику, впереди, из тени балок, вышел человек в плаще.

Он стоял спокойно, как стоял у костра, — будто не бежал, а просто ждал их здесь всё это время. В руке у него был блокнот. Он открыл его на одной странице — и Вера успела увидеть: страница была исписана сверху вниз, а поперёк, косо, шла одна-единственная свежая строка. Человек развернул блокнот к ним — коротко, на полсекунды, как показывают билет контролёру, — и Тимоха прочитал:

«Дверь слева от входа. Третья. Не бойся горы — гора считает».

— Эй!.. — крикнул Тимоха.

Но человек уже перегнулся через перила мостика — и бросил в расплавленную сталь внизу листок, вырванный из блокнота. Сталь глотнула его без всплеска. А на третьем отражении в металле — на том, что улыбалось, — листок отразился падающим белым пятном, как падающая звезда. Гирлянда, ползшая по стене за ними, вдруг остановилась. Всех тыкв разом огоньки потускнели — на один вдох. На один вдох мостик стал просто мостиком.

— Бежим! — Вера рванулась вперёд.

Мостик кончился. За ним — черновой проём, из него сквозило свежим, ночным, живым воздухом. Дверь. Настоящая дверь наружу.

И перед дверью — Верлиока.

Он был не страшен вблизи — он был страшен близостью: от него пахло ржавчиной и выпечкой, печной и сладкой одновременно, и от этой смеси подкашивались ноги. Целыми железными плечами он перегородил проём, и в проржавевшей груди его что-то тлело, как тлеет уголь в остывающей печи.

— Иди отсюда, — прогудел он. — Завод ночь работает. Живых не перерабатываем. Так полагается.

— Так полагается, — сказал Тимоха. И шагнул вперёд, прежде чем Вера успела его схватить. — А кто полагает?

— Хозяин.

— Хозяин — тот, кому сдают билеты, — Тимоха говорил, и голос его дрожал, но не сдавался. — А билеты мы не сдали. Слышишь? Не сдали! Мы — не груз. Мы — живые. А живых не перерабатывают. Ты сам сказал!

— Я сказал, — металл скрежетнул. — Сказал один раз. Сказал второй. Сказал третий. — Верлиока медленно выпрямился — во всю свою высоту, до тёмных балок под потолком. — Три раза сказал. Значит, правда.

И он отступил в сторону.

Створки двери заскрипели и пошли врозь — сами, тяже-

ло, как отворяются большие старые ворота, которые давно ждали, когда им позволят. За ними был двор, заросший лебедой, и за двором — дорога, и за дорогой — ночь, обычная, без искр, с настоящими звёздами. Такими маленькими. Такими далёкими. Такими живыми.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.